

Павел Буланже

# Болезнь Л. Н. Толстого в 1901 – 1902 годах



Павел Александрович Буланже

## **Болезнь Л. Н. Толстого в 1901–1902 годах**

«Помню, как двадцать два года тому назад я в течение нескольких месяцев потерял тестя, ждал потери жены, которой доктора предсказывали неблагоприятные роды, и затем через месяц после рождения потерял сына, скончавшегося в страшных мучениях...»

**Павел Буланже  
Болезнь Л. Н. Толстого  
в 1901–1902 годах**

Помню, как двадцать два года тому назад я в течение нескольких месяцев потерял testa, ждал потери жены, которой доктора предсказывали неблагополучные роды, и затем через месяц после рождения потерял сына, скончавшегося в страшных мучениях.

Я был молод, полон веры в себя, но тут как-то все у меня померкло, жизнерадостность куда-то улетучилась, и передо мной вставало все то, о чем я раньше не думал, вставали самые естественные вопросы о жизни, о цели существования моего, и как-будто бы я взбирался куда-то по узенькой каменистой тропинке, под моими ногами вырывались, скользили камешки, падали в бездну, и мне казалось, что вот-вот и я соскользну туда.

На столе стоял маленький гробик, я собирался сегодня хоронить моего первенца, единственного сына, с которым я прожил месяц, наблюдая, как в этом маленьком, невинном существе жизнь боролась со смертью. Страдал я ужасно. Я чувствовал, что я виноват во всем, чувствовал, что жизнь не то, что я так легкомысленно радостно рисовал себе раньше, и без слез я мучительно страдал.

Вопросы вырывались за вопросами, а ответы к ним не приходили, и этот грозный, мрачный ряд вопросов, казалось, сейчас задавит меня, задавит и уничтожит бесследно, и я с отчаянием глядел в окно на улицу, видел толпы прохожих, видел, что вокруг совершается еще жизнь, но мне все было чуждо. Я глядел на этот совершенно чуждый мне мир, ничего не замечал и чувствовал, что надо отсюда уйти и этим прекратить дальнейшее зло, которое я делал в жизни, превращая ее из радости в страдание, из красоты в мерзость.

Под окном стоял почтальон и, очевидно, долго уже обращал безуспешно мое внимание на себя. Наконец я взял у него квадратный синий конверт, надписанный совершенно незнакомым мне размашистым, длинным почерком, вскрыл его и, не понимая, от кого бы это могло быть, разыскал на последней четвертой странице подпись имени того человека, который так дорог мне стал в течение остальной моей жизни, – Лев Толстой.

Эта мрачная шеренга тяжелых, грозных вопросов, которые с таким упрямством и настойчивостью наступали на меня, как будто

заколебалась. Я поднял голову, я вдруг увидел, что я, безоружный и совершенно обессиленный, получил подкрепление и в мои руки вложили меч, и, кажется, меч добрый, и, когда я поднялся и встряхнулся окончательно, врага не было. Оставалась мучительная, разламывавшая меня тяжесть напряжения, но я готов был идти дальше, готов был бороться...

И вот прокатилось уже двадцать два года, как я знаю этого человека. И когда я вспоминаю эти годы, вспоминаю разные события, время от времени встряхивавшие меня, погружавшие иногда в пучину отчаяния, безвыходности, снова встает предо мною тот же человек. Когда, казалось, я должен был задохнуться от грязи и мерзости, в которую попал, когда все, казалось, уже отвернулось от меня, дышать было нечем, просвета не было и спасения тоже, я опять услышал голос того же человека, пробуждавший меня к жизни, снова ее чувствовал и начинал жить.

За эти двадцать два года я пережил периоды близости к тому, кто неизгладимо, неразрывно вплелся в мою жизнь, так что иногда мне казалось, я не чувствовал своей жизни,

и за это время я часто и неоднократно мог наблюдать интимную жизнь, день за днем, час за часом того человека, которого весь мир называл великим. Говорят, что когда наблюдаешь вблизи великого человека, его повседневную жизнь, то величие это значительно исчезает. Великий человек является обыкновенным, с недостатками, страстями, мелочами и т. п., и постепенно перестаешь ценить тот бриллиант, которым он умеет сверкать перед другими при особенном освещении.

Тогда, следовательно, Л. Н. Толстой не был этот великий человек.

И действительно, я не мог и не могу относиться к этому человеку, как к тому великому, каким его считает мир. Та удивительная, кристальная чистота его души, то высокое напряжение духовной жизни в нем, которое приходилось мне наблюдать и, наблюдая, как бы нечаянно заглядывать в лучший, неведомый еще нам мир духа, не позволяют мне уже видеть того величия, которое видят другие.

В величии, которое одни приписывают другим, кроется всегда та фальшь отношений,

при которой возможно всегда отдалиться от этого «великого» человека, считать его чуждым, считать, что он говорит, недостижимо для нас. Величие – это патент на то, чтобы отдалить от нас этого человека. Но не то со Львом Николаевичем Толстым. Он так страстно шел к источнику жизни, так верил и видел в людях одну высшую жизнь, что, идя сам к ней неизменно, неуклонно, каждый момент своей жизни открывал и другим ее, каждому старался отдернуть ту завесу, которая скрывает этот другой, высший в нас мир, видя который мы только и можем быть счастливы. Раздувая к себе этот огонь божеской жизни, он спешил к каждому помочь сделать то же. Он страдал, когда видел, что другие не делают этого. И чем он выше, чище становился, тем теснее вплетался своей жизнью в жизнь других.

Каждый день, каждый час, каждый момент своей жизни этот удивительный человек уходил от себя и, когда бывал с нами, как бы боялся показаться в том виде, в каком он только что пришел, в котором он только что был, потому что, если бы мы увидели его



таким, нам стало бы нестерпимо стыдно за свою мерзость и грязь. И в особенности это было поразительно и ярко, когда он хворал, хотел совсем оставить нас здесь, а мы, не видя и не зная, куда он идет, как бессмысленные букашки копошились около него, «помогали» ему и не понимали того, чем он живет и что видит.

Болезнь представляет для огромнейшего большинства людей несчастье, страдание, а приближение к смерти – еще худшее бедствие. Но эти-то пробные камни были тем точилом, которое только оттачивало у Л. Н. Толстого его меч, которым он безбоязненно разрубил препятствия этой временной телесной жизни и шел к другой – вневременной.

И вот один из таких периодов жизни его, когда чистота и высота его духовной жизни особенно отдаляли его от людей, мне и хотелось бы припомнить теперь насколько можно подробнее.

В июне 1901 года я находился в Москве, вместо того чтобы быть за Орлом в имении Кочеты у Сухотиных, куда меня приглашала

дочь Льва Николаевича Толстого, Татьяна Львовна «...» и где в это время гостил Лев Николаевич. Но дела меня задержали, и я все собирался выехать, хотя боялся, что не застану в Кочетах Льва Николаевича. Тогда я решил выехать, по крайней мере, навстречу Льву Николаевичу, – я знал, что он был не совсем здоров и хотел доставить ему хотя бы удобный переезд по дороге, так как имел возможность пользоваться при проезде по этой дороге отдельным вагоном.

«...»

Не теряя времени, я поехал на вокзал, дал телеграмму в Орел. «...»

В десять часов вечера я был на станции своего назначения, а через полчаса подошел и встречный поезд, в котором должен был ехать Лев Николаевич. Хотя я и вышел разыскивать его по вагонам, боясь, что он не получил моей телеграммы, но, оказывается, он ее получил и облегчил мое затруднение, сам выйдя из вагона со своей спутницей. «...» Вид его был крайне измучен, кроме того, на пальце руки я заметил перевязку.

– А вы все-таки перехватили меня, – сказал

он каким-то надтреснутым голосом, верный признак волнения или физического страдания, – и я очень рад сейчас, очень благодарен, и нездоровится, и очень устал.

Оказалось, путешествие Льва Николаевича «...» до станции железной дороги было очень тяжело и мучительно. Ввиду того, что ехать в экипаже было очень болезненно, Лев Николаевич предпочел пойти на станцию пешком, выйдя заблаговременно. Провожатого он отказался взять, не желая стеснять других, и, расспросив дорогу, пустился в путь. Но пройдя часа полтора, он устал и, кроме того, желая взять прямое направление, которым он сократил бы версты три-четыре, сбился с дороги. Наступали сумерки. Лев Николаевич карабкался с холма на холм, терял силы, видел, что сбивается совсем с первоначального направления. Спустилась ночь, и невдалеке от себя Лев Николаевич услышал лай собак, он направился туда и нашел пастухов на заброшенном хуторе. Здесь он узнал, что значительно отклонился от дороги, что до станции еще верст шесть. Тогда он стал просить достать где-нибудь лошадь – лошади не было.

Не возьмется ли кто-нибудь проводить его до станции или, по крайней мере, вывести на дорогу? Никто не соглашается, боятся: в этой местности много волков, и рисковать в эту темень никто не хотел. Указали направление – и с Богом.

В темную ночь, усталый уже, не зная дороги, но, полагаясь на свои старые охотничьи привычки, Лев Николаевич пустился в путь, снова выбираясь и спускаясь по холмам. Наконец ноги его нащупали наезженную дорогу. Он остановился и стал ориентироваться в темноте. Видно было, что он попал на скрещение нескольких дорог. Куда теперь было идти? Зная, что земство в этой местности ставило на перекрестках дорог столбы с надписями направлений, он нащупал столб, но надписи прочесть нельзя было. К счастью, оказались в кармане спички, и, зажегши спичку, Лев Николаевич узнал наконец, куда надо было идти.

Пройдя немного по найденной дороге, Лев Николаевич услышал стук экипажа по дороге и стал ждать, надеясь, что ехавший подвезет его к станции. Оказалось, что это везли

на станцию его же багаж, и, сев на линейку, он «благополучно» добрался через полчаса до станции. Измучен он был ужасно. Разболелся живот от тряски, все болело. Отправившись в уборную на станции, он к тому же как-то неловко облокотился на дверь с блоком, палец попал в дверную щель, и дверь с тяжелым блоком захлопнулась и размозжила палец. Ко всей усталости и прежним болям прибавилась еще мучительная боль раненого пальца. Вот почему была перевязана рука, перевязку сделали уже через несколько станций в Орле.

Как я и предполагал, Лев Николаевич не поехал в первом классе, и его уговорили, чтобы после всех перенесенных трудностей в пути он поехал хотя бы во втором классе. Но и тут... было очень неудобно, как рассказывала сопровождавшая его И. Вагон был полон, спинки для спанья... уже приподняты, оставалось несколько мест внизу, и Лев Николаевич кое-как примостился на одном из таких мест в ногах у лежавшей на диване дамы, сторбившись в этой дыре с поднятой над ним спинкой дивана. Об отдыхе, разумеется,

не могло быть и речи. <...> Было накурено, душно и гадко.

«Но, – рассказывала И., – мы очень терпеливо к этому относились, получив в Орле <...> телеграмму и зная, что нам осталось терпеть всего часа полтора».

Когда Лев Николаевич вошел в ожидавший нас вагон, я был поражен происшедшей в нем переменой. <...> Он сильно страдал, но, как и всегда, не показывал этого. <...>

Наш вагон отцепили в Ясенках, и Лев Николаевич мог провести спокойно остаток ночи <...> Рано утром мы перевезли его, больного, в Ясную Поляну, и в тот же вечер я уехал в Москву.

Сказался ли данный случай, или вообще болезнь уже прокрадывалась, но последующие известия о нем из Ясной Поляны были самые тревожные.

1 июля 1901 года я получил в Москве письмо от второй дочери Льва Николаевича, Марьи Львовны Оболенской, которая находилась тем летом в Ясной Поляне. Она писала, что вообще после приезда из Кочетов Лев Николаевич чувствовал себя нехорошо. Хотя он

и перемогался, хотя старался не поддаваться «...» происходившей уже в нем болезни, все время занимаясь своею статьею «Единственное средство», но ему, очевидно, было дурно.

«...»

Письмо это очень взволновало меня. Хотя после этого припадка слабости прошло уже два дня и неполучение известий из Ясной Поляны могло указывать на то, что там сравнительно благополучно, я с ночным поездом выехал туда.

На станции Козловка Засека первый вопрос мой к встретившему меня кучеру из Ясной Поляны: не слыхал ли он чего-нибудь про здоровье графа.

– Чтой-то, говорят, граф дюже плох. Гулять не выходят, вчера за дохтуром в Тулу ездили, – отвечал он.

В Ясной Поляне я был поражен унылой обстановкой. Вышедшая в столовую Софья Андреевна показалась очень измученной... она рассказала, что Лев Николаевич очень слаб, совсем почти не спит, жар у него и, очевидно, лихорадка, что бывший вчера доктор ничего

определенного не сказал... «Хотя Лев Николаевич не хотел звать доктора, – жаловалась Софья Андреевна, – но нельзя же было, и я выписала из Тулы; теперь нужен покой, уход».

Отказ льва Николаевича от доктора, несмотря на то, что ему становилось все хуже, людям, близким к нему, был вполне понятен, и во всяком случае его нельзя было приписать тому сектантству, которые многие... склонны в нем видеть. В призывании доктора... он при напряженной духовной деятельности во время болезни видел досадную помеху отдаться вполне уносившим волнам новой, высокой, духовной жизни. И обыкновенно отказывался он от доктора, не потому что, как говорится, «не верил в докторов», а потому, что верил в жизнь, в посланничество человека на земле, в то что человек при всяких обстоятельствах должен стараться исполнять волю пославшего, и если воля эта... в том, чтобы тело страдало, то побороть в себе подчинение телу, – возвысить свой дух и воспользоваться этими страданиями тела для лучшей дистилляции духа. И если за страданиями должна была следовать гибель тела, то вос-



пользоваться ими, чтобы очистить свой дух и передать его в руки Отца... не запятнанным остатками телесной жизни – волнений, желаний, страстей.

Когда я вошел ко Льву Николаевичу, я был поражен происшедшей в нем переменной. Голос у него был совсем слабый, и надо было нагибаться к нему, чтобы слышать то, что он говорил. Но лицо было спокойное и ласковое, трогательная улыбка. Он все-таки нашел силы проговорить мне несколько ласковых слов... что ему хорошо: «Чувствую, что уже на пути...» У меня подступила к горлу спазма, и я поспешил выйти.

⟨...⟩

...Днем Лев Николаевич позвал меня и слабым голосом, держа дрожащими руками листы рукописи, продиктовал мне небольшую поправку к «Единственному средству». Это продолжалось минут десять, он, очевидно, очень устал, и я, взяв у него рукопись, ушел занести эти поправки.

Дом стал, как говорится, полон народа. Приехали не только сыновья, но и внуки. ⟨...⟩ И все обыкновенно толпились в большой за-

ле яснополянского дома и с жадностью набрасывались на то лицо, которое побывало в комнате больного и могло сообщить какие-нибудь сведения, впечатления о нем.

⟨...⟩

...3 июля утром Лев Николаевич был особенно слаб, говорить почти не мог... ходившей за ним Софье Андреевне он сказал, что «стоит на перепутье и что по той и по другой дороге одинаково хорошо идти».

...При всем этом в нем шла, очевидно, самая напряженная жизнь, независимо от тех страданий и слабости, которые наблюдали окружающие. Ему ярко рисовалось положение тех миллионов людей, которые от рождения и до смерти обманывают, — насилуют и грабят, и в тишине своей комнаты, вдали от суеты и благодаря болезни еще более ушедший в чистую высшую жизнь, он обдумывал лучшее выражение того, как формулировать этот ужасный обман, как ярче представить его обманываемым людям, какой выход из него указан им. И в то время, когда всем казалось, что ему дурно, что он слишком плох, вероятно, в душе его шла работа, веро-

ятно, мысль неустанно работала, так как тотчас же, как у него наступало то, что мы назвали «лучше», передышка от болезни, он звал кого-нибудь и диктовал поправки и дополнения к статье «Единственное средство», как будто оставляя этим свое завещание людям. <...>

В один из дней, когда Лев Николаевич чувствовал себя получше, он позвал приехавшего шести-семилетнего внука, который с удивлением тихо устался на своего больного дедушку. Тогда дедушка стал выдумывать и говорить ему сказки. Но скоро устал и объявил, что продолжение будет в следующий раз. Внук очевидно слушал с напряженным вниманием, так как, придя к нам с блестящими глазенками, передал очень подробно всю услышанную им часть сказки.

Так как положение Льва Николаевича не улучшалось, а если и были временные улучшения, то за ними следовало чрезвычайно опасное ухудшение... то все семейные и близкие... решили выписать из Москвы врача, лечившего его в предыдущую трудную болезнь в Москве в 1899 году и хорошо изучив-

шего свойства организма больного. Приехавший врач нашел положение очень серьезным и склонен был к определению грудной жабы и к тому, что единственным лечением в данном случае было увезти больного в теплый климат за границу или в крайнем случае на южный берег Крыма. «...»

Все эти исследования и советы уехать лечиться были мучительны для Льва Николаевича, и я помню, как он неоднократно и мне, и другим своим близким друзьям жаловался на то, что не дадут спокойно умереть; помню, как завидовал судьбе мужика, у которого нет средств звать ни докторов, ни думать о теплых краях и только одно средство: готовиться хорошо умереть и думать об этом как об одном из самых важных дел. Смерть витала уже в Ясной Поляне, все чувствовали как-то невольно ее присутствие, всем нам жутко было и невыразимо больно, а Лев Николаевич этого не только не чувствовал, а говорил о «ней», называл уже ее и готовился к ней.

Быстрая и решительная, энергичная Софья Андреевна после одного из припадков у Льва Николаевича... решила ехать в Крым. Ехать

за границу и думать было нечего: во-первых, очень долгая дорога, которую трудно... представить, чтобы больной мог перенести, а во-вторых, на заграничное путешествие труднее было склонить и Льва Николаевича.

⟨...⟩

С этого момента стали говорить уже открыто о поездке в Крым, и так как все как будто сговорились видеть в этом спасение Льва Николаевича, то он тихо и покорно подчинился, отдался в руки своих близких и старался равнодушно относиться к тому, что хотят делать с ним. «Я так живо чувствую, – говорил он, – большое путешествие, которое совершаю и в котором проезжаю последнюю станцию, что эти изменения в способе путешествия мало занимают меня».

⟨...⟩ Болезнь Льва Николаевича, как помнят многие, стала известна всему читающему миру, скоро так же стало известно намерение перевести его на южный берег Крыма. Со всего мира сыпались запросы о ходе болезни, предложения ехать за границу и, судя по тому сердечному сочувствию, с которым иностранцами делались предложения... можно было

заклучить, что всякая страна гордилась бы тем, что такой больной отправится туда, и сделала бы все возможное, чтобы доставить ему всякие удобства.

Скоро получился ответ от графини Паниной, которая с величайшей радостью представляла свое имение в распоряжение семьи Льва Николаевича и уже сделала распоряжение о том, чтобы дом был приготовлен для поселения в нем больного. Получил и я любезное разрешение от бывшего тогда министра путей сообщения князя Хилкова взять любой удобный для перевозки больного вагон и прицепить его к любому поезду, чтобы беспересадочно доехать до Севастополя и в случае надобности отцеплять его от поезда и жить в нем в дороге. А это являлось крайне важным, так как положение Льва Николаевича было так плохо, что никто не мог с полной уверенностью сказать, что он вынесет этот длинный путь.

«...» Припадки болезни и мучительной слабости чередовались с короткими периодами сравнительного улучшения. Все вокруг суетились и отдались планам устройства поездки,

устройства на новом месте, но Лев Николаевич продолжал жить обычной напряженной духовной жизнью и в обычной своей трудовой обстановке. Если он бывал в силах, то сам писал, если же не было для этого сил, диктовал свои мысли – большею частью своим двум дочерям, Марье и Александре Львовне, – много читал и справлялся с своей обширной корреспонденцией. Как, казалось, ни было трудно последнее, так как у него никогда не было секретаря, но он бывал чрезвычайно аккуратен в ответах на письма, если видел, что искренность, сердечность корреспондентов требовали ответа. В смысле работы, общения с другими для него не существовало болезни и страданий, и думаю, что те корреспонденты, которые получали в это время письма от Льва Николаевича, не могли бы никак представить себе, что человек этот не только был нездоров, но постоянно в этом время находился на рубеже смерти.

⟨...⟩

В одну из темных холодных ночей августа, одев Льва Николаевича в шубу, отправились в Тулу, за пятнадцать верст от Ясной Поляны.

Дорога была ужасна, небольшое расстояние от усадьбы до шоссе с версту пришлось ехать, освещая дорогу факелами. Со Львом Николаевичем отправились Софья Андреевна, дочь его, Марья Львовна, со своим мужем, князем Оболенским, третья дочь, Александра Львовна, и ходившая за Львом Николаевичем во время болезни его в 1899 году художница И., близкий друг семьи.

Часов в десять вечера приехали наконец на станцию и тотчас же перевели Льва Николаевича в ожидавший его вагон. Здесь собрались проститься съехавшиеся остальные дети его. Поезд отходил часа в три ночи. Вспоминаю ясно, какая это была мучительная ночь. От дороги Льву Николаевичу стало значительно хуже, он опять стал задыхаться, снова появился жар. <...>

Никто почти не спал в эту трудную, памятную ночь и со страхом прислушивались к малейшему шороху в отделении, которое занимал Лев Николаевич. К утру ему стало немного лучше, а в десять вечера мы были в Курске. <...>

...Надеясь на все лучшее, подъехали мы



к Харькову. «...» Стоя в отделении Льва Николаевича и глядя в окно на платформу станции... я был поражен необыкновенным скоплением народа на платформе. Что больше всего поразило меня, так это то, что даже на перекладинах навеса над платформой каким-то чудом торчали люди с напряженными, возбужденными лицами, вглядываясь в наш поезд.

Вдруг меня осенила мысль.

– Лев Николаевич, – сказал я, – да ведь эта толпа на вокзале, должно быть, собралась по случаю вашего проезда.

– Что вы? не может этого быть, – возразил он. Потом, подумав мгновение, – сказал: – Задержите, пожалуйста, на всякий случай окно. Ведь это было бы ужасно.

И я увидел, как какая-то тревога мгновенно охватила его и он сразу ослабел.

Между тем снаружи сквозь гудение толпы раздавались иногда голоса: «Толстой, Толстой... в этом поезде... последний вагон» и т. д. Когда я вышел из отделения и хотел пройти на платформу, то сделать этого уже было невозможно: все было забаррикадировано

толпой. Возбужденные лица стояли на площадке вагона, на ступеньках, что-то говоря Софье Андреевне... Какой-то студент умолял допустить его ко Льву Николаевичу передать привет депутации, за ним стоял господин в штатском и одновременно с ним что-то говорил, а за этими виднелась фигура офицера, тоже пытавшегося что-то говорить. Софья Андреевна умоляюще просила их успокоиться... Мне жалко было смотреть на этих волнуемых людей, очевидно, искренно жаждавших увидеть человека, – которого горячо читали. Снова пошел я в отделение ко Льву Николаевичу. Он был очень взволнован.

– Ах, Боже мой, как это ужасно, – проговорил он. – Зачем это они? Послушайте, нельзя ли как-нибудь устроить, чтобы мы поскорее тронулись дальше...

Но это было невозможно: мы ехали с добавочным курьерским поездом, и пока первый курьерский поезд не дошел до следующей станции, нас не могли отправить. – Я сказал об этом ему, а также и о том, что, по моему мнению, следовало бы принять просивших...

– Ах, зачем это, зачем, все это лишнее, и я

просто не могу, – простонал он, как-то беспомощно еще глубже забившись в угол дивана.

Оставалось минут десять до отхода поезда. Толпа как-то растерянно смотрела на наш вагон, и по ней проносилось: болен, заболел опасно, лежит... В тамбур вагона проникло несколько человек, и снова умоляли Софью Андреевну допустить их к больному... Их впустили, и, путаясь в выражениях, они пробормотали несколько слов: что явились приветствовать его как представителя огромного числа его почитателей, что он всем дорог, что все крайне взволнованы известиями о его болезни, жаждут услышать хорошие вести о его поправлении на благо всего человечества и т. п.

⟨...⟩

Едва они вышли из вагона, как еще несколько человек просили впустить и их, допустили и этих. Когда же они ушли и передали свои впечатления окружающим их, слышались голоса: «Просим Льва Николаевича на минуту, хоть на минуту показаться у окна, просим, просим...» Все затихло вокруг, все заволновалось.

Уговорили Льва Николаевича показаться у окна. Слабый, взволнованный, он приподнялся, оперся о подоконник и раскланялся. Мгновенно все стихло, головы обнажились, и все почтительно и благоговейно глядели на этого слабого, больного, беспомощного человека, который так титанически будил самое лучшее в душах людей. Это была такая картина, которая по своей величественности, торжественности, по той дисциплине душевного напряжения, сковывавшего всю эту толпу, врезалась у меня в памяти на всю жизнь. Раздался третий звонок. И как будто из одних уст раздалось тысячеголосное «ура». Все махали платками, шапками, кричали: «Поправляйтесь, возвращайтесь здоровым, храни вас Бог...» Поезд наш медленно тронулся. «...»

В Севастополе нас ждала снова манифестация, но на этот раз очень скромная: собрались почти исключительно дамы, которые рассказали, что вот уже почти две недели, как толпы народа ежедневно собирались на вокзал, ожидая встретить Льва Николаевича, но, изверившись наконец в его приезде, перестали мало-помалу собираться, и только

эти остаться были верны себе и дождались. Но когда я выглянул из окна станции, то увидел, что и перед станцией была толпа, а перед толпой расхаживало несколько полицейских офицеров. Когда мы вышли садиться в экипаж, то один из них, полицмейстер, сел в свою коляску и понесся впереди нас. Очевидно, полиция работала вовсю, показывая свое усердие, и представитель ее поспешил дальше, чтобы предупредить «незаконное сборище толпы».

⟨...⟩

Утро следующего дня было великолепно, мы успели заpastись свежим молоком, хлебом, виноградом, фруктами и к десяти часам утра уже двинулись на двух экипажах в Ялту. Лев Николаевич оглядывал проезжаемую нами местность и объяснял нам расположение редутов, войск во время севастопольской обороны. Чувствовал он себя хорошо и во время первой перемены лошадей около Балаклав пошел немного пешком по шоссе размяться. В Байдарах мы сделали часовой привал, чтобы приготовить незамысловатый обед... Все энергично принялись за дело: кто топил

плиту в соседней с почтовой станцией пристройке, кто спешно все распечатывал и доставал, а Софья Андреевна была энергичной кухаркой. Мы торопились, и все работали дружно, боясь, что опоздаем приехать к месту до захода солнца. <...>

Наконец мы перевалили Байдарские ворота. На подъезде к ним нам повстречались две коляски, и, очевидно, ехавшие были предупреждены о проезде Льва Николаевича, так как вместе с шумными приветствиями его забросали цветами. Внизу под Байдарскими воротами тоже ожидали группы любопытных.

На первой остановке после Байдарских ворот, пока переменяли лошадей, Лев Николаевич пошел снова размяться вдоль шоссе и стал припоминать местность. Он некогда возил сюда больного князя Урусова, своего большого друга и известного, между прочим, своим прекрасным переводом «Размышлений императора Марка Аврелия»[1]. Так как Лев Николаевич не мог в точности припомнить лежавших внизу по берегу мест, то обратился к остановившемуся на шоссе молодцу, не то

приказчику, не то из мелких торговцев или арендаторов. Тот, видя бедно одетого в странную блузу старичка, стал с достоинством и нескрываемым презрением отвечать на вопросы. Я наблюдал эту сцену, и меня чрезвычайно смешило такое высокомерное достоинство этого молодца – видно было, что он дорого ценил то, что снизошел до разговора с этим сереньким человеком. Наконец подъехала коляска с Софьей Андреевной, и Лев Николаевич, поблагодарив незнакомца, сел и уехал, а я остался подождать следующей коляски. Незнакомец с удивлением посмотрел вслед уехавшей коляски.

– Не знаете, кто такой этот старичок? – спросил он меня.

– Это граф Толстой, – отвечал я.

– Как, – воскликнул он, – это тот самый граф Толстой, писатель?

– Тот самый.

– Боже мой, Боже мой! – воскликнул он с отчаянием и, почему-то схватив с головы фуражку, швырнул ее на пыльное шоссе. – И я так говорил с ним! Все бы, кажется, отдал в жизни, чтобы только повидать его, и вот...

и я, подлец, так говорил с ним, думал так, страничек какой-нибудь, ой-ой-ой...

Я сел в подъехавший экипаж, и мы долго видели, как этот несчастный стоял без фуражки на шоссе и все смотрел вслед экипажу, увозившему человека, с которым он «так говорил».

⟨...⟩

Наконец и Гаспра, ворота открыты, большой дом-«дворец» освещен, и милый, любезный немец, управляющий К. Х. Классен ⟨...⟩ стоял с хлебом-солью у дверей дома.

Любопытно вспомнить, с каким до некоторой степени страхом глядел Лев Николаевич на этот дом. Это был богатый, хорошо отделанный и оборудованный дом, один из тех палаццо, который считает долгом иметь всякий богатый европеец на берегу Средиземного моря или ином курорте. Но Лев Николаевич, привыкший к скромной, простой, чтобы не сказать – бедной обстановке Ясной Поляны, где полы были во многих комнатах некрашенные, изношенные, рамы в окнах подгнили, краска сошла, и надо было обсуждать вопрос, сменять ли их сейчас, или еще мож-



но подождать до следующего года, – и вдруг здесь необыкновенное великолепие и чистота по сравнению с яснополянским домом. Действительно, чувствовалось как-то не по себе, и все ходили, растерявшись, по этим огромным залам. Лев Николаевич, глядя со страхом на огромные вазы по углам, предупреждал нас, чтобы мы были осторожны, и видно было, что ему совсем не по себе. <...>

Следующие ясные, солнечные дни крымской чудной осени были великолепны, и у Льва Николаевича не было ни лихорадки, ни неправильной деятельности сердца. Он стал совершать небольшие прогулки, причем ввиду трудности везде в Крыму избежать горных прогулок и несносности пыльного шоссе он полюбил в особенности прогулку по так называемой «горизонтальной тропинке», проложенной от соседнего с Гаспррой дворца великого князя Александра Михайловича (Аль-Тодор) почти до самой Ливадии. По этой тропинке любил гулять покойный государь Александр III, и, кажется, она и была проложена для него. Она действительно шла

все время на протяжении верст пяти горизонтально, и нее открывался чудесный вид на Ялту. Так как нужно было ходить через владения Александра Михайловича и удельные, то Классен попросил соответствующее разрешение, и оно было дано. Упоминаю об этом, потому что впоследствии, когда болезнь Льва Николаевича привлекла особое внимание правительства, разрешение это было взято обратно, и ему было запрещено пользоваться этой «горизонтальной тропинкой».

Через несколько дней Льва Николаевича посетил живший в то время в Ялте А. П. Чехов. Лев Николаевич любил его произведения и очень ценил художественный талант Чехова. Впоследствии, когда он составлял «Круг чтения», он включил в него рассказ Чехова «Душечка», снабдив его своим предисловием.

Это свидание было какое-то натянутое. Милый, остроумный Чехов чувствовал себя как-то не по себе, разговор был вялый, и он вскоре уехал. Чехов, вообще с уважением и любовью относившийся к Толстому, слегка иронизировал над его моральным отношением.

ем к жизни, желая под этой формой скрыть то, что, без сомнения, мучило его самого в неразрешимости жизненных вопросов, в отсутствии центральной идеи, в отсутствии Бога.

После свидания с Чеховым «...» Лев Николаевич говорил, что ему очень жаль Чехова именно потому, что в нем, при всем его недюжинном художественном даровании, не было религиозного сознания, и от этого все писанное им покрыто каким-то пессимистическим флером, скрывавшим пустоту содержания. Чехов в то время был тяжело болен туберкулезом, все это знали, невольно глядели на него с состраданием и, видя рядом этих людей, стучавшихся в другую жизнь или, вернее, к которым смерть протягивала свои объятия, невольно напрашивались сравнения. Один готов был идти бестрепетно, видя за скрытой дверью что-то лучшее, привлекательное и старавшийся благоговейно прислушиваться к своему внутреннему голосу, прибрать свой внутренний храм, – другой с каким-то недоумением глядел туда и цеплялся за эту внешнюю оболочку, не хотел даже

представить себе того, что он близок к этому последнему этапу жизни, последнему столбику у нее.

Жизнь стала входить в свою колею. Лев Николаевич принялся за свои занятия, в это время снова принялся за... повесть «Хаджи-Мурат». <...>

Но занимался он «Хаджи-Муратом» как бы в виде отдыха от других работ, более важных. Он даже как будто стыдился этого своего занятия «художественным» произведением, за которым ему дышалось, должно быть, так же легко и свободно, как орлу в поднебесье. <...> И он одновременно с «Хаджи-Муратом» пишет статью «О религии», а прочтя присланную кем-то из друзей «Солдатскую памятку» генерала Драгомирова, составляет свою «солдатскую памятку». И в эти работы он входит весь, нить мыслей о них уже не рвется ни на минуту, как бы потом ему ни было плохо. <...>

И Крым, принеся Льву Николаевичу сравнительное улучшение здоровья, дал ему, кроме того, и больше возможности уединиться и спокойнее работать, так как здесь не было

той массы посетителей, какая бывала в Ясной Поляне, и он мог больше предаваться *своей* жизни. <...>

# Сноски

Первый в XIX веке и долгое время единственный полный перевод «Размышлений» Марка Аврелия Л. Д. Урусова вышел сначала в Туле. Леонид Дмитриевич Урусов, несмотря на свое высокое административное положение, будучи представителем «высшего круга», глубоко сочувствовал взглядам Л. Н. Толстого. Он перевел на французский язык «В чем моя вера?» (под названием «Mareligion») и издал эту книгу в Париже. Вполне возможно, именно это издание и послужило своеобразным «генератором» активного распространения новых взглядов и необычайной известности Л. Н. Толстого в Западной Европе и Америке. —  
*М. Р.*

[^^^]